

Э. ВИЛЕНСКИЙ

ЛИНИЯ ФРОНТА



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 47
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
МОСКВА 1942



Э. ВИЛЕНСКИЙ

ЛИНИЯ ФРОНТА

Издательство „Правда“
Москва — 1942

СОДЕРЖАНИЕ

Неизвестный моряк	3
Лишняя ракета	8
Рассказы про других	13
Благородство	19
Гадюка	24
Ненависть	33

Отв. редактор В. ПЕТРОВ

Издательство „Правда“	Изд. № 730	
А61651	Заказ типографии 1279	Тираж 50 000 экз.
Формат бумаги 105×18 мм.	Печ. л. 1 ¹ / ₂	Зн. в 1 п. л. 43 200.
Цена 20 коп.	Подписано в печати 24/IX 1942 г	

Типография «Красное знамя», Москва, Оущевская, 21.

НЕИЗВЕСТНЫЙ МОРЯК

Молчали дома с запертыми дверями, свинцово поблескивали стекла окон, за которыми никого не было. Огромное кровавое зарево заливало небо мрачным, тревожным сиянием. Оно отражалось в окнах, и тогда казалось, что за ними кто-то ходит с факелом в руке. По улицам, пустым, раскрошенным снарядами, наполняя воздух треском и пылью, проносились какие-то машины. Они шли к реке.

Туда, за реку, уходили все, кто мог. Здесь же висел в воздухе призрак ужаса и страха. Крайние улицы были в руках врага. Хлопали одиночные выстрелы, дробно стучали пулеметы, глухо звенели разрывы гранат. Враг входил в город медленно, потому что его задерживали, и осторожно, потому что он боялся.

У широкой знаменитой реки в темноте трудились люди. Бойцы стали грузчиками. Учителя и рабочие стали грузчиками. Врачи и пекари стали грузчиками. Все грузили советское добро на баржи. Костер, полыхавший в небе, уже несколько часов пожирал то, чего нельзя было увезти с собой.

Буксир никогда не ходил так быстро, как в

эту ночь. Он оттаскивал тяжелые груженные баржи на тот берег и возвращался за новыми. Он работал всю ночь. Подконец переправились последние грузчики и бойцы. Оставалась одна баржа.

Она стояла одинокая, будто брошенная, и ждала буксира. Было сыро, и туман легкой проседью висел над зелеными берегами. Город был уже в руках немцев — солдат пограничной дивизии. Они разламывали двери домов, осторожно входили в комнаты, еще осторожнее осматривали чердаки и тогда начинали грабить. Они знакомились с городом по его сундукам и шкафам. Они выносили тюки и узлы, укладывали на машины и ездил по истерзанным улицам. Нечисть заполняла город, двигалась по его улицам и переулкам, как жидкость растекается по капиллярам. Она заполняла опустевший, брошенный город, в котором оставалось лишь несколько десятков жителей: они не успели или не смогли уйти.

Лавина бандитов докатилась до реки. У берега все еще стояла баржа. Она была тиха и безлюдна. Ящики с черными надписями заполнили ее гулкое нутро, громоздились один на другом. Это были ценные грузы: машины, аппараты. Баржа стояла совсем тихая. Но на ней был человек. Он не ушел вместе со всеми, когда отправлялся последний буксир. Он остался с баржей, чтобы охранять ее. Человек в синей форменке и в черных брюках, с пулеметными лентами через плечо, в бескозырке. Советский моряк, хороший, ясно

лицы и крепкий человек, спокойный и твердый. Никто не знал, откуда он пришел на эту баржу. Когда ее грузили, он взял на себя начальство, громко командовал, подсоблял своим могучим, мускулистым плечом, подтягивал канаты. Умелый и ладный, как все моряки, он толково загрузил свою баржу; не пропало на ней ни кусочка свободного места. И он остался ждать буксира: его баржа была последней на очереди.

Он устроился между двумя ящиками и мог видеть оба берега. Он знал, что остался последним, и потому приготовился к защите. Он приладил пулемет, обложил себя лентами. Пистолет-пулемет и четыре набитые патронами диска были тут же, под рукой. В черной расстегнутой кобуре лежал заряженный револьвер. Моряк был готов защищать свою баржу.

Буксир, тяжело пыхтя, тащился к тому берегу. Потом обратный путь. Долго. Он прицепил бушлат: было сыро. Выстрелы стучали совсем близко. Буксир может, пожалуй, не успеть. Он оглянулся на тот берег. Буксир шел медленно. Он мог бы идти быстрее. Хотя нет, тянет тяжелый груз.

В стойку ударила пуля. Немцы увидели баржу и побоялись засады. Пули зацелкали по железной обшивке, по стенкам. Потом стихло. Он опять посмотрел назад: буксир уже разворачивался, и течение подтягивало баржи к причалу. Значит, теперь скоро.

С берега спускались люди в сером. Они шли

медленно, останавливались. Баржа влекла их, но они боялись ее. Потом они оказались совсем близко. Моряк стал стрелять из пулемета. Три немца тонули в землю, остальные побежали. Они рассыпались и начали войну с баржей. Они стреляли по ней из автоматов и винтовок. Они ползали между камнями и бочками, валявшимися на берегу, и подбирались к барже. Моряк стрелял не часто, но точно. После его коротких очередей всегда кто-нибудь падал. Так расстрелял он ленты и взялся за пистолет-пулемет—тяжелый, холодный коротыш с черным диском под стволом. Он слышал на немцев очередь за очередью, но они приближались. Буксир почему-то еще возился у того берега. Три диска опустели. У пистолета-пулемета на язычке есть две цифры. С одной стороны «один», с другой—«семьдесят один». Можно сразу выпустить весь диск, семьдесят одну пулю, можно, повернув язычок, делать по выстрелу. Моряк поставил на «один». Он тщательно прицеливался и бил по одному. Немцы осмелели: пулемет смолк, стреляет один человек.

В диске были еще патроны, револьвер был заряжен, буксир уже отходил от того берега, когда моряка ударили по голове. Кто-то подплыл сзади, неслышно подкрался и оглушил его.

Моряка допрашивали долго. Угрожали. Он молчал. Тогда его стали бить. Он молчал. Тогда ему отрезали палец на правой руке, потом все пальцы. Он потерял сознание.

Он пришел в себя ночью, в сарае, на мховой соломе. Его поил кто-то из кружки. Они разговаривали, двое: моряк и пехотинец, попавшие в лапы зверей. Разговаривали до утра. Потом моряка повели на площадь. Моряка привязали к столбу и кололи тесаками в грудь, в бедра, в лицо. Ему вырвали оба глаза. Он умер.

Потом убийцы сорвали свисавшую со столба телеграфную проволоку и повесили моряка на дереве. Они привязали к его ногам винтовку, надели на плечи пулеметную ленту, расправили ленточки на бескозырке. Полюбовались и ушли.

Он висел пять дней.

Потом его сняли и куда-то увезли.

И никто не узнал его имени—даже тот пехотинец, который говорил с ним в тюрьме, потом убежал, видел все и рассказал нам, на этом берегу..

Так погиб неизвестный советский моряк.

И когда кончится война, когда вернем мы все наши города и тот город, где погиб неизвестный моряк, мы поставим ему памятник. Мы привезем туда самого талантливого, самого человеческого, самого вдохновенного скульптора. Мы скажем ему: «Сотвори такой памятник, чтоб люди плакали, глядя на него». И этот памятник будет стоять на берегу широкой знаменитой реки, и люди будут смотреть на него, и поэты будут слагать стихи о благородстве, о бесстрашии, о бессмертии — о неизвестном советском моряке.

ЛИЦНЯЯ РАКЕТА

Дружба между пехотинцами и артиллеристами установилась давно. Она была основана не только на качествах людей и на чувствах: ее крепили прежде всего деловые обстоятельства. Пехотинцы хорошо поняли, что дружить с артиллеристами—дело полезное. Одним штыком противника не возьмешь. Да и артиллеристы увидели всю выгоду, которую приносили им сотни глаз и ушей, находившихся в непосредственном соприкосновении с противником. И потому, когда рота шла в наступление или в разведку с боем, всегда ее сопровождал артиллерийский полпред—лейтенант Окуневский, помощник начальника штаба артполка по разведке.

Дело намечалось у реки. Там были немецкие пушки, минометы и пехота. Наблюдателям никак не удавалось установить точного места вражеских огневых точек. Окуневскому выпала трудная задача — не только двигаться со стрелками, но и опередить их, выйти вперед, найти неуловимые пушки и минометы и дать сигнал своему командиру Тарасову. На этот раз условились так:

огонь открывать по двум зеленым ракетам, бить от ракет вправо, метров на двести.

Окуневский пробирался неторопливо и спокойно. Утро только начиналось, и времени было много. Лучше не спешить и уж закончить дело как следует. Он шел и останавливался, иногда полз, иногда подолгу лежал, слушая и анализируя всякий шумок, треск, случайный выстрел. Он уже разглядел немецких солдат, нашел минометную батарею. Пушки пришлось искать долго: они были здорово замаскированы. Но он нашел и пушки. Они спрятались на правом фланге немцев, почти на границе узла, на который предстояло наступать нашим стрелкам. Окуневского охватил азарт разведчика-профессионала и артиллериста. По правде сказать, он сейчас больше думал о своих пушках, нежели об успехе пехотинцев. Но по существу это было одно и то же. Он слился с землей и уже от нее не отрывался.

Он подобрался вплотную к вражеской батарее. Он долго рассматривал местность, отдыхал, соображал. Потом пополз влево. По условию — двести метров. Он отполз на двести метров, приподнялся и еще раз проверил расстояние. Правильно. Тогда он вынул ракетный пистолет, зарядил его, приготовил вторую ракету и выстрелил. В бледном утреннем небе зелень ракетной дуги казалась почти белой, но Окуневскому некогда было думать о цветовых оттенках. Он зарядил ракетницу еще раз, прождал тридцать секунд—услов-

ный интервал полминуты — и снова выстрелил. Удивительная тишина. Сразу же после второго выстрела он съезжился в канавке, ждал, что сейчас по нему начнут палить немцы. Но никто не стрелял. Он приподнял голову, его смутила тишина. После второй ракеты прошло двадцать секунд. Сейчас начнут бить пушки Тарасова. Прошло тридцать секунд, и вдруг хлопнул выстрел ракеты. Откуда? Окуневский посмотрел вправо и увидел, как в воздух взлетел еще один зеленый огонек. Это было совсем удивительно и обидно. Случайная немецкая ракета испортила все дело, сбила сигнал. Тарасов подумает, что три зеленых ракеты — сигнал немцев, что Окуневский вовсе еще не сигнализировал. Так оно и оказалось: Тарасов молчал. Надо начинать сначала.

Он повторил сигнал. Одна ракета, через тридцать секунд — вторая. И — невероятный случай! — ровно через тридцать секунд в воздухе засверкала третья, и тоже зеленая. Но тут Окуневский понял, в чем дело: немец его перехитрил. Он смешивал карты советского лейтенанта, путал его сигнализацию, сбивал с толку артиллеристов. Он действовал хитро и успешно. Тарасовские пушки молчали: они ждали условного сигнала — двух ракет. Ждала и пехота. А в это время у батареи началось подозрительное движение. Ну, ясно. Сейчас переменят место — и тогда все пропало. К тому же шевельнулся кустик на пути от батареи к нему. Значит, кто-то ползет. Надо уходить.

Говорят, что вдохновение приходит тогда, когда человек меньше всего его ожидает. Окуневский почувствовал это на себе. Он уже вылез из канавки, чтобы, как говорят стратеги, отойти на заранее подготовленные позиции. Он уже бормотал разные ругательные слова и по адресу хитрого немца и по своему адресу. И в этот момент пришло вдохновение. Пришла идея, простая как обычное арифметическое действие. Окуневский даже засмеялся. Он еще раз выстрелил зеленой ракетой. Один раз, одна ракета. Всего одна. Немец даст еще одну. Две плюс одна — это три. А одна плюс одна — это две. Как просто! Так учили его еще в детстве, кажется, Киселев или Малинин с Бурениным. Ну до чего это просто: одна плюс одна — две. Мысли мчались в голове, а глаза не отрывались от секундной стрелки. Через полминуты хитрый немец дал свою ракету. Но его хватило только на одну. На две не оказалось у него запаса хитрости. Прошло полминуты, а третьей ракеты не было. «Стандарт,— подумал Окуневский,— что с него возьмешь: немец!»

И тут ударил Тарасов. Первый же снаряд угодила точно в орудие. Взлетели в воздух земля, кусты. Окуневский улыбнулся и пополз назад.

Дело прошло чрезвычайно удачно. Узел сопротивления разбили, немцев погнали, новый рубеж ваяли. А когда пехотинцы стали искать Окуневского, чтобы поблагодарить за точную работу,

его не нашли. В это время он шагал крупными и легкими шагами к своему полку. Лоб его был мокр, фуражка сбилась на затылок, но он ничего не замечал, машинально обходил бомбовые воронки и разговаривал сам с собой. Нельзя сказать, что разговор этот был очень сложен и содержателен. Просто Окуневский, бормоча, занимался элементарной математикой: производил действия сложения, причем слагаемыми были лишь двойки и единицы: «Две плюс одна—три. Одна плюс одна—две». А в конце концов он вовсе бросил двойку и только твердил: «Одна плюс одна—две. Одна плюс одна... До чего же это просто, чорт побери!..»

РАССКАЗЫ ПРО ДРУГИХ

Хорошо в ясный, пригожий день гостить у летчиков: настроение у них отличное, работают всю. Про майора Виктора Петровича Иванова мне в штабе сказали: «К нему в часть надо ехать в хорошую погоду: найдете его в прекрасном расположении духа». Позже выяснилось, что Виктор Петрович всегда в хорошем, ровном настроении... Но в этот день он действительно просто сиял: распогодилось, и работа шла вовсю.

Найти на фронте авиационную часть—дело почти невозможное. Научились прятаться так, что не разыщешь, если даже и знаешь точный «адрес». Хлеб убран, обмолочен. На поле раскиданы сотни скирд. В какой из них спрятан самолет? Ну прилетит немец, ну знает, что где-то здесь самолет, а что из того? Не протрачивать же пятьсот, даже тысячу скирд или кустарник! Идет широкая полоса акаций; казалось бы, в ней и спрятать машины. Но нет, на такую посадку немец летит сразу. Поэтому выбирают маленькую, узенькую ленточку кустов. Шириной не больше, чем длина истребителя. Машину хвостом втаскивают в кусты, покрывают ветками сверху... Иди ищи.

А у кустов столик. Стоит высокий плотный Иванов. Он больше любит стоять. Сидят комиссар Погребной и начальник штаба Матвеев. Докладывает младший лейтенант Фигичев. Он только что вернулся из полета, вокруг глаз вмятины от очков, лоб вспотел, волосы шевелятся на ветру.

— Прошли заданным курсом, нашли батарею, сбросили бомбочки, — он говорит не «бомбочки», а «бонбочки», — потом зашли еще раз. Прошли над селом. На улицах стоят машины, штук триста, те же, что и вчера стояли: бензин, видно, им еще не подвезли. Прошли над ними, прочесали из пулеметов, потом еще раз... Зенитки били здорово... А движение по дорогам очень большое. Все на запад. Видно, переброска идет...

Иванов доволен. Он уходит в кусты и исчезает, словно актер, проваливающийся в сценический люк. Узкая щель ведет в подземелье. Телеграф. Иванов вызывает штаб соединения и рассказывает: там, очевидно, ждут сведений.

С Фигичевым надо поговорить. Слава о нем и его эскадрилье ходит по всему участку нашего фронта. Много сбитых самолетов, огромное количество боевых вылетов. Он проверяет, как спрятана его машина, и мы садимся под кустик.

— Расскажите о себе, товарищ Фигичев, Валентин Алексеевич, кажется? 1917 года рождения? Расскажите о самом интересном...

— А что самое интересное? Все интересно... Самое интересное у нас в части—это работа Ива-

чева. Знаете Ивачева, Константина Фадеевича? Он командир первого звена. Я команду вторым, а он — первым. Он ведь уничтожил одиннадцать фашистских самолетов. Три «мессершмитта», семь «юнкерсов» и один «хейнкель». В одном бою ухитрился два «мессера» сбить. Шел в группе прикрытия, бомбардировщиков прикрывал. Налетели «мессершмитты». Тех было восемь, а наших четыре. Ивачев на них. Погнался за одним, с четырехсот метров как запустил очередь, так и держал, пока сто метров осталось. Тот и вспыхнул. Он тогда к бомбардировщикам, видит, что три «мессера» за одним гонятся. Он еще одного сбил, третьего — Пшеничников, четвертого — Селиверстов. Все ребята из эскадрильи Ивачева...

Фигичев смолк. Вдалеке показались точки.

— Ивачев идет...

Низко, совсем над головой, промчались скоростные истребители. Их иглообразные тела пронизали воздух с такой быстротой, что дух захватило. Развернулись и сели.

— Ивачев был моим командиром когда-то. Я у него в звене летал. Он меня подготовил на командира звена. Строгий, но людей понимает. И до полотов жаден. За время войны имеет двести сорок пять вылетов... А вот и другие наши садятся — Шульга и Сташевский. Неразлучная пара... Всегда вместе...

Рядышком шли и рядышком совершили посадку два маневренных истребителя, летавших вместе с

Ивачевым. Зарулили, поставили машины и так же парочкой пошли доглядывать.

— Извините, — сказал, поднимаясь, Фигичев, — надо к командиру.

— А как же про ваши полеты?

— Потом как-нибудь... — и он убежал.

Я пошел к Ивачеву.

Небольшого роста, смуглый, с хорошими, добрыми глазами, он сразу подкупал своей непосредственностью и общительностью. Мы уселись с ним под тот же кустик, где сидели только что.

— Мне Фигичев про вас рассказывал, да мало. Расскажите еще...

— А что еще рассказывать? Он, наверное, уж вдоволь наговорил.. Золотой человек! Молодой, горячий, способный. Он мне сразу понравился, когда еще у меня в звене летал. Хороший вояка, силен в технике пилотирования. Дерется, штурмует. Уже девять самолетов сбил. И упрямый какой! Если вцепится, не отпустит. Вот, однажды подстерег «юнкерса». Тот в облака—он за ним. Вылез наверх и смотрит, куда тот выйдет. Поймал—и очередь. Тот опять в облака. Ну, словом, гонялся, пока нашел; догнал да с пятидесяти метров высыпал по нему из крупнокалиберного— тот в лес и упал. А другой раз погнался за «мессером». Тот в пику—он за ним вдогонку, Идет и очереди дает—впереди и позади, чтоб не вышел из пики. Так и сопровождал до самой земли, пока тот врезался... А знаете, сколько боевых

вылетов имеет Фигичев? Двести пятьдесят пять!
Бы!

Мы продолжали беседовать с Ивачевым. Улетали и возвращались самолеты. Я все спрашивал и спрашивал у него про него, а он все рассказывал про других. В это время за кустом кто-то стал читать вслух стихи, напечатанные в последнем номере фронтовой газеты:

„Любимая жена моя Наташа!
Бесей из дома не было давно.
И наконец письмо, родное, ваше.
Как много радости мне принесло оно!“

Летчик читал медленно эти строки Сергея Михалкова. Все стихло вокруг, замолчали и мы. Нельзя было не слушать эти чудесные слова, которые находят отклик в каждом, кто на фронте:

„Мой верный друг, товарищ мой надежный!
Я на войне. Идет жестокий бой
За каждый дом, за каждый столб дорожный,
За то, чтоб мы увиделись с тобой!“

— Хорошие стихи, — сказал Ивачев, — сердечные и простые! Наверное, его жену зовут Наташей. Где-то теперь моя жена?

Он задумался, и я не осмелился снова заговорить с ним. Я пошел к Иванову, мне хотелось поговорить с ним: о нем столько рассказывали...

— Вот, поговорил с Фигичевым и Ивачевым. Замечательные ребята! Шутка ли, вдвоем двадцать самолетов сбили, пятьсот боевых вылетов сделали!.. А сколько вы сделали вылетов, Виктор Петрович?

— Я? Я... наша часть сделала две тысячи двести двадцать один вылет. Сбили восемьдесят самолетов. Немного, правда, но сейчас больше штурмуем. Реже стал немец летать. Зато бьем танки, машины, пушки, бензоцистерны... Солдат сильно бьем. Знаете, задание идет за заданием: поддержите пехоту, разбейте колонну, разбомбите переправу... Из телеграфной землянки просто не выхожу... Кстати, вы заметили нашу телеграфистку Гаюк, Валю Гаюк? О, это особенная телеграфистка! Молния! И знаете: ведь поженились они с Фигичевым здесь, на войне. Какая пара получилась! Я сватом был. И вот теперь она его тянет, тянет. Увидит самолет, подойдет к нему и спросит: «Чья машина?»—«Моя».—«А почему она не в воздухе?» Или даю я ей депешу, что, мол, Фигичев не долетел до цели: туман помешал. Она губы сожмет, депешу передаст, а потом, гляжу, бежит к нему: «Ты,—говорит,— почему задание не выполнил?» А девушка чудесная: молодая, красивая, умная, скромная... Волнуется за него, но скрывает, чтоб и он не волновался... Да, хорошие у нас люди! С такими людьми и жить хорошо и умереть нестрашно.

Я собирался в тот вечер уезжать от летчиков, но остался еще на день: не хотелось расставаться с этими действительно замечательными людьми, с этой частью, где каждый рассказывал только о других, забывая о себе, о своих делах, о том, что он-то и есть герой, настоящий герой.

БЛАГОРОДСТВО

Высоко, затянув все небо, стояли серые ровные облака. Только что растаяли хлопья утреннего тумана, ожили окопы, потянулись вверх голубоватые дымки цыгарок. Сзади послышалось жужжанье: шли два истребителя. «Наши», — сказали в окопе.

Круглоносые истребители шли почти рядышком, один немножко впереди. Пройдя над передним краем, они сделали мягкий разворот влево, и потом почему-то линии их полета разошлись. Правый заложил резкий вираж и отвалил от своего напарника. Самолеты несколько секунд шли врозь. Потом и левый вдруг развернулся, помчался за первым.

Внизу поняли, в чем дело, только тогда, когда глухо, по-голубиному, заворковали пулеметы. Пулеметы на высоте звучат как-то по-особенному. Внизу увидели, что летчики бросились в бой. Они понеслись на большую группу чужаков, шедших на восток. Те летели в два яруса — бомбардировщики и истребители. «Мессершмитты» скользнули вперед и прикрыли «юнкерсов». «Юнкерсы» ушли своим курсом, а шестерка «мессеров» осталась над окопами.

Первым упал враг. Он решил схитрить и нырнул вниз, чтобы ударить ястребку в брюхо. Он не успел: загорелся и с небольшой высоты грохнулся наземь. «Чорт!»—сказал кто-то в окопе. Слово это было произнесено тихо, вероятно сквозь зубы, но прозвучало оно громко, как крик: такая тишина стояла над земляной щелью.

Наверху кружилась карусель. Наши стреляли редко, били только наверняка. У пяти больше патронов, чем у двоих. Но тех было уже не пять: их осталось четыре, потом три. Эти трое дрались с необычайным упорством и прекрасным летным мастерством. Они ловко ускользали от наших ястребков и умело заходили им в хвост. Слева дрались двое—один на один, справа двое «мессеров» клевали одного.

И на землю упали сразу два самолета: один—слева—немец, один—справа—наш. В воздухе оставались один советский истребитель и два вражеских. Наш был несколько в стороне и мог бы, воспользовавшись удобной секундой, удрать. Это было бы, может быть, рассудительно, но это было бы трусостью. Об этом подумал, вероятно, не только летчик, но и все, сидевшие в окопе. И в людях, смотревших снизу, столкнулись два чувства: страх за советского летчика, оставшегося против двух сильных врагов, и гордость за него, не покинувшего поле боя.

К этим двум чувствам внезапно присоединилось третье—радостное и ликующее. Справа пел

самолет. Это шел остроносый, похожий на челнок, скоростной истребитель. Он плыл стороной, идя своим курсом, видно, по своему, какому-то особенному делу. «Иди сюда, — сказал кто-то в окопе, — сюда давай, сюда, сюда!..» Это говорил тот же голос, говорил тихо, но настойчиво и страстно, и это был голос всех, сидевших в окопе. Оцепенение исчезло, еще кто-то закричал: «Сюда, сюда!» И люди стали выскакивать из окопа, махали руками, словно летчик мог их услышать или увидеть. Он и не увидел их, но он увидел бой. Он увидел пару тоненьких хищных «мессеров», носившихся за тупоносым коренастым ястребком, и мотор его завыл, будто возвещая о силе, с которой он шел на выручку неизвестного товарища. Советский «миг», теряя высоту и набирая скорость, помчался к месту боя.

В эту секунду произошло несчастье. У ястребка, видно, заело пулеметы либо кончились патроны, а «мессеры», навалившись на него с двух сторон, расстреляли его. Летчик на «миге» видел это, и самолет его завыл еще громче, еще грознее. Он тоже мог бы повернуть обратно, превосходство в скорости помогло бы ему уйти от более сильного противника. Но линия полета не изменилась, осталась той же прямой; ее не сломал даже самый маленький угол. За секунду до этого советский летчик готовился вступить в бой вместе с товарищем, теперь он шел драться один.

И он начал борьбу. Описать ее — значит расска-

вать о картине, полной волнения, неимоверного напряжения и неисчерпаемой храбрости. То были ассы, видно, из немногих оставшихся в живых немецких ассов. Наш тоже был асс, король воздуха, бесстрашный и ловкий боец. Он хитро обманывал противников и талантливо выходил из самых трудных положений. Трудно все же драться одному против двоих. Он уже пристраивался было противнику в хвост, но в это время сзади приклеивался другой. Приходилось нырять, разворачиваться, скользить. Он и делал это бесчисленное количество раз, то атакуя, то отступая. Бой мог бы продолжаться до тех пор, пока кончится бензин, но нашему надоела эта безрезультатная возня. Смелым маневром он уткнулся в хвост одному из «мессеров» и погнался за ним. Немедленно к нему пристроился второй «мессер». Так и шли они—«мессер», «миг», «мессер». Задний был до этого выше. Спускаясь вниз, он набавлял скорость и потому догонял нашего. А наш догонял «мессера». И наш стал стрелять. Со второй очереди первый «мессер» кувыркнулся и сорвался. В этот же миг стал стрелять задний «мессер». Наш не мог развернуться: сзади нажимал сильный противник. Развернуться—значило увеличить прицельное поле. «Миг» попытался уйти. Черный дымок распустился за его хвостом, так он газовал. Но было поздно. Опытный немец как нельзя лучше использовал и разницу в высоте и свое выгодное положение. И он газова

изо всех сил, нажимал, нажимал и стрелял. И ужас сковал потрясенных зрителей, когда они увидели, что «миг» дрогнул. Густой, черный дым вырвался из фюзеляжа, самолет дернулся, нос его задрался кверху, он в последний раз посмотрел вверх, в родное советское небо, — и упал.

Стон вырвался у людей, видевших гибель советского летчика. Десятки бойцов бросились к горевшему самолету. Там, в костре, рвались патроны, но люди и не подумали о грозившей им опасности. Они забросали машину землей и сбили огонь. Они вытащили человека, лежавшего там. Он был мертв.

В кармане нашли документы. Это был Кузьма Егорович Селиверстов, командир звена, беспартийный человек, родившийся в 1913 году. И когда люди прочитали эту фамилию, они поняли все. Они знали эту фамилию, знали, слышали про Селиверстова, бесстрашного бойца и храбрейшего человека, совершившего почти триста боевых вылетов, сбившего одиннадцать самолетов. И они похоронили его здесь же, у своего окопа, с великой и простой торжественностью. Когда тело летчика уходило в землю, в небе зашумело. Шли обратно немецкие бомбардировщики. Бойцы хмуро посмотрели наверх и, отвернувшись, продолжали хоронить героя. Никто из них и не подумал пригнуться или спрятаться в окопах: храброго надо хоронить по-храброму. Лучший памятник герою—героизм.

ГАДИСКА

Эльза Штудлер возвращалась в родное село. Она училась в городе на курсах колхозных счетоводов, прожила там шесть месяцев и сейчас ехала домой. На вокзале встретил отец, Пауль Штудлер, плотный, краснощекый человек, с большими белыми усами. Он усадил дочь в плетеные дрожки и шевельнул вожжами. Легкая пыльца побежала за дрожками. Эльза ехала домой.

Отец молчал. Он всегда был неразговорчив, даже с любимым сыном Карлом, который уже несколько лет не жил дома. Куда уехал Карл, так никто и не знает. Эльза слышала сквозь сон, как отец что-то говорил однажды ночью Карлу, а наутро брата уже не было. Соседям сказали, что Карл уехал учиться.

Заходившее солнце бросало косые тени на широкие улицы села. Коренастые, толстостенные стояли дома, белые, яркие. Почему-то их не забрызгали грязью, а ночью, если придет бомбардировщик, их хорошо будет видно сверху. Дома стояли глубоко во дворах, обнесенных крепкими каменными заборами. Как крепости. Сразу было видно, где живет немецкая семья, а где — украинская. Украинцы ставили легкие ограды, обсаживали их зеленью. Немцы окружали себя каменной

стенной, и дома у них стояли далеко от улицы, словно прятались, отгораживались от жизни.

Восемнадцать лет прожила Эльза в этом полу-немецком—полуукраинском селе. Отец воспитал ее в строгости и беспрекословном подчинении. Она никогда не обращалась к отцу—разговор начинал только он. Мать умерла, когда Эльзе было два года. Отец взял экономку, одинокую Гертруду Геблер, которая приходилась дальней родственницей соседу-механику. Гертруда вскоре стала полновластной хозяйкой в доме. Она не любила детей—Карла и Эльзу,—но не вмешивалась в их воспитание. Воспитывал отец.

Он был хорошим хозяином. Много кур, большой огород, две коровы. Он отдал в школу сына, потом дочь. После семилетки устроил ее на курсы счетоводов. Теперь она вернулась домой. Отец распряг лошадь, вошел в дом, взял аттестат об окончании курсов, почитал: так, так. Ушел.

Утром Эльза пошла на работу. Колхозного счетовода взяли в армию, и она заняла его место. Она работала хорошо и усердно, потому что боялась отца. Работа ее не радовала. Надо было возиться с колхозниками, спорить с ними. И вообще время было тревожное, неподалеку гремел фронт, село бродило, молодежь по вечерам не выходила из домов. Отец неизменно после ужина надевал шапку и куда-то уходил.

Два раза были комсомольские собрания. На

одном провожали ребят, уходивших на фронт; на другом решали вопросы, связанные с отъездом из села. Эльза сидела молча, почти не слушая, о чем говорят. Ее веки были всегда полуопущены: левый глаз косил, и она старалась это скрыть. Со стороны казалось, что она дремлет. Так и сказал однажды секретарь, молодой комбайнер Антон Чередниченко:

— Спать надо дома, ночью, Эльза, а здесь не место.

Но за Эльзу вступились две комсомолки: Лида Игнатенко, черноволосая румяная говорушка, и Галя Колун, тихая, высокая, над которой все подшучивали за ее мечтательность:

— Ты Эльзу не обижай, Антоша.

Эльза благодарно взглянула на своих заступниц. Отец всегда был против ее дружбы с русскими девушками: разве в селе мало немок? Но с этими она иногда встречалась. После собрания шли вместе, обнявшись.

— Ты уйдешь с нами, Эльза, или уедешь с правлением колхоза? — спросила Галя. — Немцы уже близко, они комсомольцев по голове не погладят, не посмотрят, что ты немка...

Эльза обняла Галю, но ничего не ответила. Дом был близко, и она вошла в ворота. Отца не было. В комнате с занавешенными окнами горела лампа. На столике возле постели стояла карточка покойной матери — худой некрасивой женщины, — лежали две книжки: библия в кожаном старом,

потерявшем тиснение переплете и «Рейнке-Лис», с картинками и крупными заглавными буквами. Эту книжку читал в детстве отец. Смешные картинки. Нет, она не уедет. Зачем ей уезжать отсюда, где все так привычно? А немцы ее не тронут: отец объяснит им, что ей нельзя было не вступать в комсомол.

Утром из села уходили коммунисты и комсомольцы; уезжали и беспартийные, целыми семьями, нагрузив на подводы добро. Низко прошел самолет с черными крестами, покружился, посмотрел. Днем вошли немцы.

Они сразу наполнили село шумом и тревогой. Какой-то офицер влез на грузовик и держал речь. Его трудно было разобрать: он говорил на каком-то другом немецком языке. Но все поняли, что немцы требуют выдачи коммунистов.

Офицер слез, а на его место стал Пауль Штуджер, отец. Он говорил на том же диалекте, что и офицер. Эльза никогда не слышала, чтоб ее отец говорил на этом диалекте, раньше он разговаривал по-иному. Но ей было приятно, что отец так хорошо владеет чистым немецким языком. Потом все разошлись. Офицеры и солдаты заняли самые богатые дома; из труб повалил дым. Отец повел офицеров к себе. Он заметил Эльзу и кивнул головой: домой. Эльза пошла на кухню готовить угощение. Она слыхала, как офицер смеялся, как смеялся отец. Потом они говорили тихо, их нельзя было услышать, Эльза

накрыла на стол и ушла к себе в комнату. Она слышала выстрелы на краю села — там жили украинцы. Хлопали двери, все время кто-то входил и уходил. Поздно вечером отец позвал ее. Офицер посмотрел, остался равнодушен.

— Никуда, Эльза, не уходи, будь здесь и помогай господину майору, — сказал отец.

Потом он запряг лошадей и уехал.

Утром офицер сказал:

— Вы, фрейлейн, были комсомолкой. Таких, как вы, мы расстреливаем. Если бы не ваш отец, вы тоже были бы расстреляны. Ваш отец — почтенный человек, он много сделал для нас, и ваш брат тоже много сделал. Он скоро придет. Но вами мы недовольны. И мы еще проверим, что вы собой представляете. Для начала пойдите по селу и посмотрите, кто остался из коммунистов, из молодежи, из правления колхоза. Потом придете и расскажете. И будете моей переводчицей. Идите...

Опустив по привычке веки, Эльза шла по улицам. Она прошла вдоль всего села, но никого, кроме немцев да нескольких стариков-украинцев, не увидела. Она готова была повернуть, когда заметила у белой с черепицей хатки Лиду и Гаю. Девушки стояли с Петькой, тринадцатилетним братом Лиды. Галя отирала калитку.

— Здравствуй, Эльза, — сказала Лида, она смотрела строго и настороженно. — Ты, значит, не усхала?

Петька дернул сестру за рукав.

Она отвела руку мальчика:

— Почему, Эльза, ты не уехала?

Эльза стояла, опустив веки. Она не могла поднять глаза, и рука ее дрожала.

— Отец не пустил. Эллер,—потом, решившись, она подошла к девушкам совсем близко.— Но я не изменница, я с вами...

— Хорошо, Эльза,—ответила Лида,—мы тебе верим. Я всегда думала, что ты неплохая девушка. И я тебе скажу... мы пришли помочь Пете. Мы будем здесь жить, а он будет ночью ходить через фронт. Мальчишку не заподозрят, а он нашим поможет. Помогли и ты нам.

— Помогу, — сказала Эльза.

Офицер сидел во дворе Пауля Штудлера. Перед ним на столике лежал лист бумаги. Поочередно вводили украинцев. Майор разговаривал с ними через Эльзу. Он спрашивал фамилию, записывал ее на бумагу и обращался к Эльзе: «Опасен?» Эльза говорила: «Нет»,—и офицер ставил птичку. Арестованного отпускали.

— Смотрите, — сказал майор, — по-вашему, все безопасны в этом селе. Вы не дадите нам никаких сведений. Берегитесь... Впрочем, вы, может быть, боитесь мести? Тогда ничего не говорите, но, если увидите коммуниста, уроните платок. Можете ничего не говорить, только уроните платок...

Цили люди, один за другим. Они не глядели в

сторону Эльзы, они отворачивались от нее. И вдруг ввели Петьку. Эльза опустила глаза, но чувствовала, что офицер, не отрываясь, смотрит на нее. Она вытащила платок, но не смогла его бросить.

— Хорошо, — сказал по-немецки офицер. — Можете не бросать, так даже лучше.

Когда убрали Петьку, солдаты ввели Лиду и Галю. Девушки шли твердой поступью. На головах у них алели косынки. Глаза блестели. Они стали у стола.

— Ну, — сказал офицер, — это что за птички?

Девушки молчали, они понимали по-немецки, но молчали. Молчала Эльза.

— Я спрашиваю вас, фрейлейн, — офицер повернулся к Эльзе. — Вы будете говорить?

Эльза подняла глаза. Она сама удивилась этому, но она не могла не смотреть на подруг. Она не смогла бы теперь отвернуться от них. Они притягивали к себе, их воля была сильнее воли Эльзы. И ею овладела злоба. Почему они такие твердые, смелые? Почему они никогда не опускают глаз? Почему даже сейчас они не боятся? И она сказала сначала по-русски, потом по-немецки:

— Это хорошие девушки, это мои подруги, они не коммунистки, — потом снова опустила веки и вынула платок.

— Так, — сказал офицер, улыбнувшись уголком

губ,—значит, хорошие девушки? Отлично, пусть уходят, хороших девушек мы не трогаем...

Каким взглядом подарили Эльзу подружки! Они глазами хотели сказать, ей, что обнимают ее, целуют, восторгаются ею. Эльза не поднимала век. Девушки ушли.

— Вы, фрейлейн, тоже свободны. Вы держались молодцом... Рерих, Густав, догоните-ка тех пташек да заберите их. И не вздумайте их выпустить...

Немцев выбили из села неожиданным и резким ударом. Они умчались так же быстро, как и пришли. А через несколько дней на широком дворе Пауля Штудлера шло судебное заседание.

— Слово имеет общественный обвинитель, — сказал председатель.

Общественный обвинитель встал. Все головы повернулись в его сторону. Это был секретарь сельской комсомольской организации Антон Чердниченко. Он посмотрел на судей, потом на собравшихся крестьян и начал говорить. Он говорил глухим, взволнованным голосом, стараясь сдерживаться. Кругом была мертвая тишина. Только листва шелестела на тополе, который одиноко высился у калитки.

— Я буду задавать вопросы и сам буду отвечать на них. Где родилась Эльза Штудлер? Здесь. В советском селе. Среди кого росла она? Среди нас, среди советских ребят, среди советской молодежи. На чьи деньги училась она в шко-

ле? На деньги советского государства. Кто платил за ее учебу на курсах? Наш колхоз. Так жого же мы вскормили и вспоили? Я спрашиваю вас, товарищи судьи, вас, граждане, себя, ее, обвиняемую Эльзу Штудлер. Кого вскормили и вырастили мы? Гадюку! Гадюку, потому что нет существа подлее и гаже гадюки. Мы с вами хоронили замученного Петю Игнатенко... Я предлагаю снять шапки в память о Пете... Мы не можем найти Лиду и Галю—наших героических девушек, отдавших светлую жизнь свою за социализм. Кто погубил Петю, Галю и Лиду? Она, Эльза. Кто предал ребенка? Она, Эльза! Кто предал своих подруг, лучших наших комсомолок? Она, Эльза! Это настоящая гадюка! Она ближе к земле, чем к людям. Ее глаза всегда смотрят вниз, она всегда смотрела вниз, на землю. Она не человек,—она ползучий гад! Так чего же долго говорить о ней? Я знаю, что в каждом из вас уже готов ей приговор. Она заслужила его, и заслужила трижды. Если б можно было, я казнил бы ее три раза: за Петю, за Галю, за Лиду... От своего имени, от имени общества, от имени всего нашего народа я требую для Эльзы Штудлер, предательницы и изменницы родине, смерти...

Солнце шло к горизонту, красное и зловещее. Оно заливало пурпурным светом серые облака, деревья, дома и двор, где, окруженная печалью и гневом человеческим, сидела обвиняемая Эльза Штудлер.

НЕНАВИСТЬ

В юности Моисею выбили четырнадцать зубов. Молодой батрак ушел, как обычно, на работу в четыре часа утра. В полдень он прилег в тени высоких золотых подсолнухов: это был обеденный перерыв. Он съел ломоть хлеба; жевал медленно, отдыхал. Потом пошел к ручью и напился холодной воды. Возвращаясь, упал, ушиб ногу. Нога распухла. Он вернулся домой, когда солнце еще только висело над горизонтом. «Лодырь!» — закричал хозяин, свирепый здоровенный детина, и ударил Моисея три раза. Четырнадцать зубов!

В июне сорокового года пришла Красная Армия. Моисей не был тогда юношей. Это был мрачный, молчаливый старик, чернобородый, крепкий, словно вырезанный из дубового кряжа. Четыре десятка лет непрерывного рабства сделали его хмурым и неразговорчивым. Крепкое тело и здоровый дух за это сорокалетие не были сломлены: работа на чистом воздухе под живительным бессарабским солнцем закалила Моисея, налила его большой силой. Он вышел

на улицу, когда грохотали танки, и улыбнулся. Это был первый хороший день в его жизни.

Счастливым днем! Вечером пришли сыновья-близнецы, ладные, подтянутые. Младший — лейтенант и старший — сержант. Они сказали, что будут стоять в Бессарабии, на Пруте. Оставили деньги, хорошие папиросы и ушли.

Это был чудесный год. Моисей жил с женой в Кишиневе. Сыновья редко приезжали, но часто присылали деньги. А когда наступили грозные дни, когда люди ушли из Кишинева на восток, Моисей увидел своих сыновей еще раз. Они убежали на минуту:

— Пойдем с нами, отец, вам со старухой здесь делать нечего, убьют... а мы сейчас уходим.

Моисей выпрямился и крепко обнял сыновей:

— Вы говорите, здесь нечего делать? — он смолк на секунду и затем заговорил тихо, совсем шепотом, но быстро и взволнованно: — Дел много, а вас я еще увижу. Останусь, хочу опять повидаться со старыми друзьями... А вы идите, за меня не беспокойтесь, я не один...

Он проводил сыновей.

— Прощаюсь с сынами, — сказал он командиру батальона, — а сам остаюсь. Разговор с вами хочу иметь.

Командир батальона поговорил с Моисеем, и старик унес с собой какой-то тяжелый ящик. Он понес его не домой. Он зашел к старому другу

Антону, маленькому, сморщенному бессарабцу, чистильщику сапог, просидевшему со своими мохнатыми щетками на улицах Кишинева три десятка лет. Потом Моисей весь остаток дня ходил по городу, нырял в какие-то покосившиеся калитки, спускался по сгнившим лестничкам в подвалы. А на третий день после прихода в Кишинев румын из города поздней ночью ушли нестеро: Моисей, чистильщик сапог, каменщик-столяр, батрак и печник. Шесть человек, которым вместе было почти четыреста лет. Они шли на запад, шли долго. Их никто не задерживал, стариков, хорошо говоривших по-румынски, стариков, возвращавшихся от большевиков к своим семьям в Румынию.

Звездной ночью они дождались у Констанцы поезда. Он шел, громыкая и лягая, длинный поезд — много товарных и несколько пассажирских вагонов. Под шпалами лежали заряды, те, что дал Моисею командир батальона. Моисей держал в руках электрическую батарейку, провода шли к зарядам. Сноп искр веером летели из трубы, черный длинный поезд громко шумел, изредка резко гудел паровоз, и тогда казалось, что это Кишинев, что поезд сейчас зашипит, остановится, из него выйдут оживленные люди...

— Подожди, Моисей, — сказал Антон, беря друга за локоть, — ведь там люди в поезде, подождем другого, товарного...

Моисей высвободил локоть:

— Ты, Антон, говоришь, что людей жалко! А какие там люди едут? Которым ты штиблеты чистил? Дай руку... — он взял антоновы пальцы и положил их к себе в рот. — Могу я укусить? Нет. А кто выбил мои зубы? Они, вот те, что едут в этом поезде... Так ты не мешай и не сомневайся. Не могу кусаться зубами, так я их укушу... — и он нажал кнопку.

Раздался страшный грохот, и стариков, притаившихся в канавке, ударило сильной волной воздуха. Из разбитых вагонов вырвались крики и стоны. Пламя заиграло на насыпи, и вдруг начали рваться снаряды. Земля дрожала, а старики прижимались к этой дрожавшей земле, и сердца у них бились, как никогда. Потом взорвалась цистерна с бензином. Яркий огонь разлился по полотну.

Целую неделю ремонтировали насыпь, растаскивали разбитые и обгоревшие скелеты вагонов. И целую неделю жандармы рыскали вокруг, щупая каждую пядь земли, допрашивая каждого окрестного жителя. А старики были вблизи. Они жили у своих, у людей, которые спрятали их — кого в соломе, кого в кукурузе, кого просто в хате: разве подумает жандарм, что сухонький, еле двигающийся Антон и есть тот страшный человек, который взорвал путь, уничтожил вагоны со снарядами, важег бензин, истребил сотни людей? Старики не хотели уходить, они ждали восстановления дороги и нового поезда. Они дожда-

лись — и в воздух взлетел еще один транспорт, снова на неделю прервалось железнодорожное сообщение.

И с той поры загрела по всему краю слава о какой-то могущественной и неуловимой группе, отчаянной, смелой, технически вооруженной, тщательно законспирированной. Одни говорили, что в округе действует отряд, насчитывающий тысячу человек. Другие утверждали, что здесь вообще нет ни партизан, ни диверсантов, а все это — дело приверженцев старого короля. Третьи считали, что это провокация. Полиция сбилась с ног. На заборах и домах висели афиши, сулившие огромные деньги тому, кто выдаст, сообщит, раскроет... Но группа действительно была спрятана и законспирирована на славу. Антон так и жил убогим старичком в хате племянника, остальные никогда не оставались на месте больше одного дня. Моисей съездил в Бухарест и вставил у знакомого дантиста четырнадцать зубов. Потом сбрил бороду, большую, густую, с которой прожил он много, много лет. Из зеркала глянуло неожиданно моложавое лицо, приветливое — с бородой Моисей был очень грозен. Жаль было бороды, но она чересчур запоминалась.

Антон пересылал записки: «Поправляюсь», «Уже не кашляю», «Завтра первый раз встану с постели и выйду погулять». Ночью на прогулке встречались в овраге. В руках был тол, в карманах шнур — и опять вздрагивала земля,

опять загоралась бензоцистерна, катился под откос поезд, взлетал в воздух катер: старики расширили сферу своего влияния и ходили далеко, на Дунай и Прут. Но на линии всегда кто-нибудь оставался, и линия не работала. Ее ремонтировали уже пятый раз, и пятый раз Антон взрывал ее — то там, то здесь, то опять там. Тогда линию перестали ремонтировать. Бензин, войска, бомбы пошли на автомобилях. Что ж, автомобили не хуже поезда! И по ночам стали гореть автомобили. Через две недели снова попробовали отремонтировать железную дорогу. Антон и Моисей терпеливо ждали окончания работ. Дорогу починили, но поездов по ней не пускали. Ждали. Старики тоже не торопились, они тоже ждали. Так прошло пять дней. Потом пошел поезд. Вдоль насыпи через каждые полкилометра стояли жандармы и солдаты. У них в руках сверкали фонарики. Поезд шел медленно и осторожно. И все-таки он взлетел в воздух.

Утром в окрестных деревнях жандармы устроили такой обыск, что в хатах не осталось ни одной целой половицы. На крышах торчали только стропила, солому разворошили и сбросили на землю. Антон, немощный, дряхлый, сидел перед домом и грелся на солнышке. Он не открыл глаз, когда пришли жандармы. Он слышал ругань, крик. Кричал жандармский офицер. Потом все стихло, начался обыск. И вдруг что-то словно толкнуло Антона, он открыл глаза и уви-

дел Моисея. Моисей шел с прутиком в руке и гнал телку. Антон не выдержал и вскочил.

— Уходи, — зашептал он, — здесь жандармы!

— Да, здесь жандармы, — в дверях стоял офицер, он насмешливо смотрел на стариков. — Ты, папапа, оказывается, очень быстр... Я думал, ты больной.. А ты? Постой, постой, погоди...—офицер внимательно вглядывался в моисеево лицо. — Ты мне знаком... Постой, да ведь это же Моисей! Значит, это ты? Я так и думал, с Кишинева тебя ищут, старуху твою я уже пристроил.. Руки вверх, сволочь!

Через час Моисей заканчивал показания. Он давал их медленно, спокойно. Он давал их сыну своего хозяина, того, у которого проработал сорок лет. Он говорил с расстановкой, неспеша. На улице стояли часовые. Между ними сидел Антон. Ну, Антон выкрутится, он умеет здорово притворяться, а жену, значит, этот убил. Да... Моисей говорил, мысли медленно шли в голове, отчетливые и тугие. На столе лежала граната. Офицер прикрыл ее фуражкой. Герб на фуражке выглядел очень внушительно.

— Распишись, — сказал сын хозяина.

Моисей встал. Он взял узловатыми неловкими пальцами ручку и обмакнул ее в чернильницу, а левой рукой обхватил шею офицера.

— Ко мне! — крикнул тот.

Вбежали жандармы. Они кинулись на Моисея, но у него вместо ручки была в кулаке граната,

та, что лежала на столе, темнооливковая, маленькая, как лимон. Жандармы бросились на Моисея, но он не бросил офицера и не бросил гранаты. Он держал ее в кулаке и только отпустил пружинный спуск. Чмокнул зажал. Моисей держал офицера и поднес поближе к нему гранату:

— Сейчас она тебе выбьет зубы..

Взрыв прервал фразу.

Ночью Антон и его четыре товарища взорвали склад с патронами и гранатами.

— Это за Моисея, — сказал Антон. — Он был хороший человек. Ненависть у него сильная была. Так мы им еще покажем, что такое наша ненависть.

Грохот еще стоял в воздухе, когда Антон скавал эти слова. Старики помолчали, еще раз взглянули в сторону пылавшего склада и исчезли в темноте.

Цена 20 коп.